

Раздел VI

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Н. В. НОСОВ

АНТИ-ПЛАТОН (рассказ об одном поэтическом открытии)

В середине зимы 2000 г. мой друг и коллега Грегор Микис, молодой германский философ, изучающий русскую философию в университете Бремена, прислал мне подстрочник стихов древнегреческого поэта Демодока (так был обозначен автор). Зная мое увлечение античной поэзией, Грегор предложил мне сделать поэтическую обработку подстрочника, однако попросил никому не рассказывать об этой работе и не показывать никому сами стихи. Эту просьбу он объяснил так (я привожу, с разрешения Грегора, часть его письма): «Работая над некоторыми специальными вопросами истории русского кантианства, я встретился с именем малоизвестного философа Георга Гамана. В его бумагах, доступ к которым я не без труда получил, мне попался на глаза листок с этими стихами. Текст на древнегреческом языке был написан рукой Гамана, имя “Демодок” стояло в качестве заглавия. Однако, когда я стал выяснять — кто такой Демодок, то узнал, что от его наследия осталось не более полудюжины отрывков, а о жизни нет никаких точных сведений или даже упоминаний. Ничего похожего на древнегреческий оригинал текста, найденного в рукописях Гамана, я не смог обнаружить. Поэтому я не знаю, как оценить свою находку. Более того, Георг Гаман, по свидетельству современников, был довольно странным человеком, в частности, он вполне серьезно считал себя “Сократом среди немцев”. Стихи, как ты сможешь увидеть, представляют, по сути, перебранку с Платоном. Так что я полагаю, что Гаман вполне мог мистифицировать своего “Демодока”, имея в виду критику Платона со стороны Сократа. Тем не менее я постараюсь как-то прояснить все эти вопросы, пока же прошу тебя никому не говорить об этом нашем деле. . . » До этого Грегор писал, что только мое увлечение греческой поэзией побудило его прислать мне стихи, и, действительно, во время его стажировки в России в 1997 г. мы много часов провели, беседуя о тонкостях мыслительных и лингвистических эффектов в поэзии древних греков (в скобках замечу, что для развлечения мы сравнивали таковые же в русских анекдотах, знание и понимание которых Грегором, иностранцем, меня просто шокировало).

Прочитав подстрочник, я был снова шокирован, потому что такой открытой критики Платона я не встречал никогда — даже «Облака» Аристофана обходятся мягче с Сократом, чем Демодок, подвергающий Платона настоящей обструкции. Философия в целом ставится им под сомнение. Тем не менее я получил истинное удовольствие, работая над этими стихами. Кроме того, поддерживая переписку с Грегором, я заинтересовался и Гаманом. Вопрос о том, является ли «Демодок — Анти-Платон» мистификацией, или это настоящие древнегреческие стихи, так и остался открытым — никаких свидетельств в пользу той или другой позиции мы найти не смогли. Ни историки, ни филологи, ни эстетики, ни философы не смогли

нам помочь. В многочисленных архивах современников Гамана также ничего обнаружить не удалось. Только Якоби, друг Гамана, однажды упомянул в письме к Эрдгроту о «греке, ниспровергающем Идею, о чем может поведать наш “Маг Севера”». «Магом Севера» современники называли Гамана, а греком вполне может быть Демодок. Но это только предположение. Пока все, что точно известно под именем Демодок, заключено в четырех двустишиях:

Вот Демодоково слово: милетяне, право, не глупы,
Но поступают во всем жалким подобно глупцам.
Вот Демодоково слово: хиосцы, — не тот или этот, —
Все, кроме Прокла, дурны; но из Хиоса и Прокл.
Все киликийцы — прескверные люди; среди киликийцев
Только Кинир лишь хорош; но — киликиец и он!
Каппадокийца ужалила злая ехидна, и тут же
Мертвой упала сама, крови зловредной испив¹.

В примечаниях можно прочитать: «Никаких достоверных сведений об этом авторе IV века до н. э. нет»².

Однако Грегор, по моей просьбе, согласился, чтобы я опубликовал переводы Демодока, но не в научном издании, а в качестве литературного произведения, поскольку поэтическая ценность текста, найденного в рукописи Гамана, несомненна, и было бы странным утаивать его от публики, тем более, что и без того два столетия «Демодок — Анти-Платон» мирно почивал в стопке нетронутых манускриптов. Но, прежде чем представить на суд читателя стихи, я решил познакомить его с краткой биографией Гамана. Возможно, это поможет воспринять странную судьбу «Демодока» и понять отсутствие каких-либо свидетельств о его жизни и творчестве. Также, мне кажется, сопоставление жизни Гамана и его характера с характером стихов Демодока будет интересным с точки зрения художественной и даже, по моему убеждению, сможет доказать, что Гаман не мог совершить подлог или сыграть с потомками шутку. Вся его жизнь показывает, что он был человеком не просто искренним, но абсолютно искренним, чуждым какой-либо игре, позе или интриге. Все странности его жизни обусловлены только лишь доходящей до абсурда серьезностью и искренностью его отношения к жизни, слову, мысли. Гаман, я твердо в этом уверен, не стал бы заниматься интеллектуальной игрой, тем более, что, по его собственному признанию, он был лишен дара поэзии.

Биография Гамана изложена в статье Гегеля «О сочинениях Гамана»³. Читатель может убедиться, что я не прибавил от себя практически ни слова, лишь сократив те части гегелевской статьи, которые имеют специальный философский характер. Из переведенных на русский язык работ Гамана я обнаружил всего две краткие публикации: в третьем томе «Антологии мировой философии» и во втором томе «Памятников мировой эстетической мысли». Гаман, попавший в две самые авторитетные в нашей стране философские антологии, до сих пор не удостоился чести быть изданным. Гегель обильно цитирует Гамана по немецкому изданию 1821–1825 гг. (пер. с немецкого И. С. Нарского). В целях удобства я не ставлю отточия в тех местах, где идет разрыв гегелевского текста.

Гаман родился 27 августа 1730 г. в Кенигсберге. Отец его был цирюльником и, видимо, жил стесненно. В школьные годы он семь лет

¹ Античная лирика // БВЛ. Сер. 1. Т. 4. М., 1968. С. 202; пер. В. Латышева.

² Там же.

³ Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Сер. «Философское наследие». М., 1972. С. 575–642.

учился у человека, который старался научить его латыни без помощи грамматики, а потом у более методического учителя. Успехи, которые были достигнуты им здесь, таковы, что учитель мог льстить себе и Гаману, заявляя, что воспитал второго латиниста и знатока греческого; Гаман называет его педантом, жалуется, что в истории и географии он совсем отстал и что не приобрел ни малейшего понятия о *поэтическом искусстве стихосложения*. Столь же характерно для него, хотя и не для его школьного образования, то, что он сообщает далее, а именно что всякий внутренний порядок, все понятия и радость от овладения ими оказались у него нарушены. На него обрушилась куча *слов и вещей*, и, не зная их смысла, основания, связи, употребления, он жадно бросился нагромождать одно на другое, все больше и больше, без разбора, без вдумчивости и соображения; и болезнь эта распространилась на все его действия. После дальнейшего учения в школе, получив первые понятия о философии и математике, о теологии и древнееврейском языке, а это было новое поле для излишеств: «Мозг превратился в ярмарочный киоск наимоднейших товаров» (цитата из «Мыслей о моем жизненном пути» Гамана. — *Ред.*), — с этой путаницей в голове он в 1746 г. пришел в высшую школу. Ему надлежало изучать теологию, но он встретил препятствие «со стороны своего языка, слабой памяти, многих лицемерно-ханжеских помыслов в образе мышления и т. д.», что отняло у него вкус к теологии и ко всем серьезным наукам, а затем к так называемым прекрасным и изящным наукам и поэзии, романам, филологии, французским писателям.

Он задумал поступить теперь в домашние учителя. Из подробностей тех злоключений, в которые он попал, учительствуя в частных домах, отметим только то, что он относит на счет своего характера. Занимая свою первую должность, он написал два письма матери своего воспитанника, баронессе в Лифляндии, в которых взывал к пробуждению ее совести; ответом было его увольнение с должности. Ответ приведен буквально, начало его приведем и мы: «Господин Гаман, поскольку Вы сами совсем не подходите для наставления *состоятельных* детей, а еще мне не нравятся Ваши дурные письма, где Вы обрисовали моего сына столь подлым и гнусным образом и т. д.». За унижение своей гордости он, впрочем, получил некоторое вознаграждение в виде нежного чувства ребенка к себе. В подобные же бедствия он попал и во втором доме, а позднее с ним приключились и новые неприятности.

В Кенигсберге Гаман приобрел дружбу одного из братьев Беренсов из Риги; «тот, кто знает сердца людей, испытывает их и властвует над ними, возымел мудрое намерение ввести нас обоих, одного через другого, во искушение». И на самом деле, осложнения, в которые Гаман попал с этим другом и его семьей, — самые потрясающие в его

судьбе. Связь с братьями Беренсами состояла в том, что Гаман был принят к ним на службу, введен в дела и в семью. За их счет он должен был совершить путешествие, «чтобы воспрянуть духом и возвратиться домой, приобретя вес и испытав свое счастье». 1 октября 1756 г. он отправился, снабженный деньгами и рекомендательными письмами, в путешествие в Лондон через Берлин, Любек и через Амстердам. В этом городе, говорит он, утратил он всякую удачу в обретении знакомых и друзей соответственно своему сословию и расположению души, чем прежде так гордился; ему думалось, что каждый опасается его, и сам он испытывал страх перед каждым. На дальнейшем пути в Лондон его обманом лишил денег один англичанин, которого он однажды утром увидел склоненным в молитве, а потому возымел к нему доверие. В Лондоне, куда Гаман прибыл 18 апреля 1757 г., первым его шагом было разыскать рыночного глашатая, про которого он слышал, что тот может исправлять *все* недостатки речи (один такой недостаток состоял, по-видимому, в заикании). Но поскольку лечение показалось ему дорогим и долгим, Гаман отказался от него и был вынужден, как он говорит, приняться за свои дела при прежнем языке и прежнем сердце. Он открыл эти дела (видимо, долговые требования) тем, к кому был направлен. «Они удивлялись их размеру, еще более — *способу* улаживания дела, а больше всего, наверное, *выбору лица, которому доверились в этом вопросе*». Гаман решил теперь, что самое умное — «делать как можно меньше, чтобы не множить издержек, не выдавать своих слабостей поспешными действиями, *и не позориться*». И он, удрученный, шатался там и здесь. «Я бодрился и храбрился, но это были лишь химеры странствующего рыцаря и звон бубенчиков дурацкого колпака», — так описывает он то беспомощное и безнадежное состояние, в которое погружена была его душа. Наконец, он отправился в кофейню, потому что ему не с кем было перекинуться словом, дабы «найти ободрение и общение с людьми и таким путем, может быть, построить мост к счастью...». Таким совершенно опустившимся, слоняющимся без дела, пренебрегающим всякой добропорядочностью мы видим его через год, который был проведен без дела и пользы.

Состояние внутренней и внешней беспомощности заставило его обратиться к Библии; он описывает сокрушенность, которую вызвало в нем ее чтение и познание глубин Божественной воли в искупительном деянии Христа. Своим покаянием и раскаянием он достиг такого успокоения своего сердца, какого не было у него никогда в жизни. Воспринятое им утешение поглотило всякий страх, всякую печаль, всякое недоверие.

Ближайшее применение этому утешению состояло в том, что оно укрепило его дух, томившийся под тяжестью денежных долгов.

150 фунтов стерлингов (данных ему господами Беренсами) промотал он в Лондоне, столько же остался должен в Курляндии и Лифляндии. «Мои грехи — это долги бесконечно более весомые и чреватые последствиями, чем грехи повседневные. Если христианин договорился с Богом о главном, разве не простит Он их в придачу? 300 фунтов стерлингов — это Его долги; христианин перекладывает теперь на Бога все последствия своих грехов, ибо Бог принял их тяжесть на себя».

Получив письма из дома и из Риги, пришел он к решению возвратиться в Ригу, куда прибыл в июле 1758 г. и в доме г-на Беренса был, как говорят, встречен со всем возможным дружелюбием и нежностью. Он благословляет Господа за то, что тот благословляет его труд, и после бессонной, проведенной в раздумьях ночи, 15 декабря встает с мыслью ступить в брак, поручив милосердию Божию себя и свою подругу — сестру своих друзей, господ Беренсов. Получив согласие своего отца, он открывает свое решение братьям Беренсам и их сестре, которая, видимо, согласна. Но последний день 1758 г. заполнен странными неотвязными ссорами между ним и одним из братьев Беренсов, который разговаривал с ним, как «Савл среди пророков» (под пророком Гаман понимал себя. — *Ред.*). Это был день бедствий, ругани и злословия. Молитвой за всех своих друзей, полной раскаяния и елея, в первый день 1759 г. заканчивается его дневник.

В ходе переписки между Гаманом и ректором Линднером в Риге, общим другом Гамана и братьев Беренсов, эти темные обстоятельства по-прежнему не прояснены, но в письмах сквозит глубокая неприязнь с обеих сторон, причем господа Беренсы глубоко чувствуют контраст между дурным поведением Гамана в Англии, а также продолжением им бездеятельной жизни, и его разглагольствованиями о благочестии и полученной им от Бога милости, а особенно претензией на то, чтобы благочестием своим выделяться среди своих друзей, дабы быть признанным в качестве их Учителя и Апостола. На с. 355 можно прочитать даже об угрозе засадить Гамана ради его исправления в такую дыру, где не светят ни солнце, ни месяц.

Вышеупомянутый Линднер, а затем и Кант, когда один из господ Беренсов, которого привели туда дела, находился в Кенигсберге, старались как друзья обеих сторон уладить этот конфликт. Обе стороны добиваются и стараются изменить строй чувств и взглядов другой стороны. К Гаману обращено требование признать порядочную, полезную и трудовую жизнь и по-настоящему приняться за нее, претензии же его на благочестие, поскольку на такую жизнь не подвигают, во внимание не принимаются. Гаман же, напротив, еще более утверждает в своей позиции. Его раскаяние и обретенная им вера в Божественную милость — вот крепость, в которую он заперся и замкнулся

против требований своих друзей прийти с ними касательно вопросов реальной жизни к чему-то общему и признать объективные принципы. Он требует от них, чтобы они познали самих себя, а также покаяния и обращения. «Христианин, — пишет он своим друзьям, — совершает все в Боге. Ест и пьет, переезжает из одного города в другой, останавливается там на год и погружается в стихию жителя-бытия или же остается там в бездейственном ожидании — все это божеские дела и свершения».

Сначала его друзьям — Линднеру и Канту, с их посредничеством, очень крепко достается. «Можно ли назвать нейтральностью, когда, под предлогом письма, к тебе проникают вооруженные люди, а конверт превращают в троянского коня?». Он сопоставляет эту услужливость с любезностью, которую Иродиада (Саломея. — *Ред.*) оказала своей матери, выпросив себе голову Иоанна Крестителя. Канту о его стараниях он пишет: «Не могу удержаться от смеха, что философа избрали, чтобы вызвать во мне перемену. На самое лучшее доказательство я смотрю, как рассудительная девица на любовное письмо». Письма к Канту написаны с особой, великолепной страстностью. Кант, похоже, не отвечал на письма Гамана, и даже на первое из них, поскольку счел несносной его гордыню. Он снова пишет ему с вызывающей запальчивостью, спрашивая: «Захочет ли Кант *подняться* до гордыни Гамановой, или же Гаману *отсутиться* до тщеславия Кантова?». На непосредственную, проявляющуюся озабоченность своих друзей по поводу его настоящего положения и будущего, неприспособленности и незанятости трудом, он отвечает заявлением, что не определен ни к тому, чтобы быть государственным или светским человеком, ни к тому, чтобы стать коммерсантом, и благодарит Бога за покой, который тот ему дарует.

Покинув Ригу, Гаман живет у своего старика отца, и тот, по его свидетельству, предоставляет ему в избытке все необходимое для пропитания. От своего денежного долга дому Беренсов он сперва отделяется так (письмо Канту, с. 444): если об этом зайдет речь, Кант должен сказать г-ну Беренсу, что у него, Гамана, нет теперь ничего, и он сам живет от милостей отца, а когда ему придется умереть, то он хотел бы завещать г-ну Беренсу свой труп, который тот, как египтяне, может взять в залог (!!!). Спустя год он сам пишет Беренсам, с целью поставить долговые требования на определенную почву. Ему отвечают, что вопрос разрешен — он покинул их дом, и это обстоятельство пусть и будет концом всяких обязательств, которые когда-либо были между ними.

Главный поворот в поведении его по отношению к друзьям выразился в том, что он сам стал нападать на них, сначала на одного из братьев Беренсов, требуя, чтобы тот *почувствовал* и признал самого

себя за человека, в котором налицо *мешанина великого духа и жалкого убожества*. То, что в своем частном деле он так обременил друга Линднера, Гаман объяснял тем, что он ждал и надеялся, что Линднер применит все его наставления *к самому себе*. Как христианин он должен был простить Гамана, которому *приходится* наносить ему раны и горе. Данное ему от Бога предназначение — помочь своим друзьям достигнуть самопознания, он подтверждает тем, что точно так, как древо познают по плодам его, так и он, пророк, — по судьбе своей, которую он делит со всеми свидетелями ее, а его судьба — быть оклеветанным, пресираемым и преследуемым. Исходя из этой позиции, он призывает Канта, чтобы тот столь решительно отверг его, как и он (Гаман) нападает на него. В противном случае любовь Канта к истине и добродетели будет выглядеть в его глазах столь же презренной, как и любовные шашни. Как говорилось, Кант, видимо, не пожелал обсуждать с Гаманом эти вещи. Последнее письмо к Канту содержит упреки по поводу молчания и попытку вызвать его на объяснения.

Но именно отказ от замысла «обрабатывать» сердца своих друзей и от стремления добиться признания в качестве Учителя привел Гамана, с тою же целью, к другому средству — печатным произведениям. «Сократические достоинства» — это изложение и выразительная демонстрация позиции, которую он хочет занять: вести себя как Сократ, который был несведущим и выставлял напоказ свое незнание, чтобы привлечь сограждан и вести их к самопознанию и познанию глубоко скрытой истины. Он следующим образом развивает параллель своей деятельности и деятельности Сократа: «Дело Сократа — свести мораль с Олимпа на землю и укоренить ее на земле, претворить в практическую очевидность изречение дельфийского оракула — совпадает с моей деятельностью в том, что я аналогичным образом пытаюсь развенчать высшую святыню и сделать ее простой и общей для всех назло нашим праведникам — лжепророкам, пророкам проказным, пророкам таможенным (лучше сказать: пророкам-болтунам). Все мои *Opuscula* (сочиненьица), взятые вместе, составляют алкивиадову личину» (совпадения с Ницше, писавшим век спустя, просто поразительны. — *Ред.*). Далее видно, что Гаману в отношении специфической цели этого произведения повезло не больше, чем с его письмами. На Канта оно, очевидно, не оказало никакого воздействия, а на Гамана, вероятно, навлекло презрение и даже насмешки.

Характер Гамана как писателя, о чем мы теперь будем говорить, не нуждается ни в каком особенном изображении и оценке, так как он целиком есть лишь выражение ранее описанной своеобразности его личности. Когда его сочинения появились, только немногие встретили их с почитанием и восхищением, большинство же отнеслось к ним

равнодушно как к вещам *неудобоваримым*. Неспособность Гамана написать книгу вытекает из сказанного выше сама собой. Господин издатель сообщает о многочисленных сочинениях Гамана, что ни одно из них не составляло более пяти страниц, а большинство — не превышало двух. Далее, все они были созданы вследствие особых к тому поводов и отнюдь не из собственного побуждения, а ради заработка. К первому его произведению — «Сократическим достопамятностям» — его побудила цель личного характера, желание продолжить диалог с определенными лицами. Другими поводами послужили для него иные случайности, как, например, орфография Клошптока. Сильнейшее возбуждение Гамана вызвало знаменитое сочинение Моисея Мендельсона «Иерусалим, или О религиозной власти и еврействе». Направленная против него брошюра «Голгофа и Шеблимины», без сомнения, самое замечательное из того, что было им написано.

Смыслом его сочинений были глубины религиозной истины, но в столь концентрированном виде, что все эти сочинения были весьма невелики по объему. Гаман так представлял себе свои занятия, выражая это с помощью вдохновенного прекрасного образа: «Вдохнуть весь аромат лилий в долине и в тайне весь аромат познания — вот гордость, которой ярче всего запылают глубины сердца и нутро человека». Непосредственно перед этим он сравнил себя с валаамовой ослицей. Непонятность гамановых писаний сама по себе неприятна, потому что она неизбежно связывается у читателя с досадным ощущением преднамеренности. Изначальная закоснелость в упрямстве ощущается как враждебное настроение Гамана по отношению к той публике, для которой он пишет. Вызвав в читателе глубокий интерес, он тут же отталкивает его гримасами, шутовством, бранью, которые отнюдь не становятся лучше от употребления библейских выражений, или издевательскими насмешками. Гёте в своей биографии рассказывает, как в те времена «тихие поселяне» во Франкфурте обратили свое внимание на Гамана и завязали с ним отношения. Эти набожные люди вообразили себе Гамана набожным по их образу и подобию и общались с ним с глубоким уважением, как с «Магом Севера». Но вскоре всеобщее неудовольствие вызвано было его «Облаками», а еще более — титульным листом его «Крестовых походов филолога», где был изображен козлиный профиль рогатого Пана, и сатирическими гравюрами: *большущий петух, дирижирующий молодыми курочками, которые стоят перед ним, держа в коготках ноты*, — все в крайне смехотворном виде. После этого они выразили ему свое возмущение, а он от них удалился. Многие из подобных намеков, как признает сам Гаман в ответ на вопросы друзей, он уже сам не понимает. Пришлось бы проштудировать все рецензии пятидесятых и последующих годов,

гамбургские «Известия об ученых предметах», «Всеобщую немецкую библиотеку», «Литературные письма» и большое количество других, совершенно забытых неведомых газеток и изданий, чтобы снова установить смысл многих выражений Гамана. Переписка дает разъяснение только некоторых, совершенно частных намеков. Имя Маммамуши с тремя перьями, например, взято из «Мещанина во дворянстве» Мольера, но подразумевается не турецкий паша с тремя конскими хвостами, а один газетчик — Гаманов издатель и владелец бумажной мельницы. В собрании Гёте находятся некоторые из печатных сочинений Гамана, где Гаман на полях собственноручно привел места, к которым относятся его намеки. Но если, добавляет Гёте, открыть соответствующие места, то обнаруживается опять же некий двусмысленный свет, который весьма приятен, только нужно совершенно отказаться от того, что называют пониманием.

Тем не менее вокруг «Мага Севера» (чуть ли не титул у Гамана!) воссиял нимб. Друг Гамана Якоби, например, сказал о его «Новой апологии буквы Н» следующее: «Можем ли мы в нашей словесности указать на что-либо, что с точки зрения содержания и формы превосходило бы это сочинение по глубокомыслию, остроумию, проникающему его настроению и вообще по богатству присущего ему гения?». Гёте замечает, что он сам был соращен Гаманом на сивиллов стиль. Этот стиль вызвал в нем даже сильное волнение. Для многих Гаман есть не только интересное и впечатляющее чтение, но и опора и поддержка в те времена, когда нуждались в таковых, дабы не отчаяться. Нам, живущим позже, следует восхищаться им как оригинальной личностью, но мы можем сожалеть, что он не нашел формы, сливаясь с которой его гений мог бы создавать истинные образы к радости и удовольствию как его современников, так и его потомков, или что судьба не наделила его веселым и добродушным нравом.

Здесь мы покинем картины его наличного бытия и остановимся на конце его жизни. Несколько месяцев спустя после смерти Гамана Якоби рассказывает о том, что тот сравнил себя с одержимым, которого злой дух бросал попеременно то в огонь, то в воду. «Указующий перст! — не раз обращался я так к Гаману. Быть может, среди потока слез это было одно из последних слов, которое я услышал из его уст».

В последние годы Гаман находился в весьма выдающемся круге очень благородных, образованных и блестящих людей, которые его столь же любили, как уважали и почитали. Он был в обществе своего *Ионафана Якоби* и его благородных сестер, *своего «сына» Алкивиада* — Бухгольца, *Диотимы* — княгини Голицыной, *Перикла* — фон Фюрстенберга, собственного старшего сына, и старого друга — Линднера. С этими друзьями Гамана не получилось так, как с ранее упомяну-

тymi кенигсбержцами (Кантом и другими). Гаману не казалось, что они любят и уважают друг друга без подлинного доверия. Но если там Гаман думал, что другие уже нашли то, что он ищет, то здесь, напротив, он сам считался нашедшим то, что искали другие и что они должны были в нем почитать и от него вкушать, приобрести для себя или усилить.

О Диотиме, княгине Голицыной, Гаман пишет с величайшим уважением. Он описывает ее один раз в письме к знакомой в Кенигсберг крайне характерным образом: «О, как прониклись бы Вы благорасположением к этой исключительной женщине, которая *чахнет* от страсти к величию и добру». Княгиня, без сомнения, не допускала мысли оставить незатронутым своими усилиями человека, который — поскольку он, как могло казаться, уже так «много нашел» — был недалеко от того, чтобы сделать *последний шаг*. Но Гамана было не так-то просто запутать. Имеется интересное письмо Гамана княгине от 11 декабря 1787 г. Начало или повод к его написанию не совсем ясны, но далее в нем сказано следующее: «Не полагаясь на принципы, которые большей частью основаны на предрассудках нашего века, и отнюдь не высмеивая их, надо, как самой надежной основой всякого спокойствия, удовлетвориться чистым млеком Евангелия, ориентироваться на данный Богом, а не людьми светоч и т. д.». Здесь даны определения, которые отсекают ряд моментов *религиозности* княгини (пожалуй, во всем наследии Гегеля это первый случай, когда великий философ поражает читателя откровенной пошлостью. Этим отсеченным моментом, так сказать, *религиозности* является, очевидно, нежелание Гамана сделать последний шаг в отношениях мужчины и женщины. — *Ред.*)

Что касается Якоби — Ионафана, то Гаман вступил с ним во всесторонний обмен мнениями о его философских и полемических сочинениях. Якоби вложил в это все рвение своих помыслов духа и сердца. Но почти все, что Якоби сделал значительного, Гаман разнес в пух и прах, в присущей ему манере, т. е. не предлагая ничего конструктивного, ничего не распутывая и не объясняя, а отчасти делая это в довольно некрасивой форме. Хуже всего была принята Гаманом оценка Спинозы у Якоби, хотя у той был лишь совершенно негативный смысл. Гаман, как обычно, не идет дальше шумной брани. Якоби носится со Спинозой, заявляет Гаман, «бедным шельмой из картезианско-каббалистических сомнамбулистов, как с камнем в желудке», это все «бред воображения, слова и знаки, плохие шутки математической фантазии, идущей к произвольным конструкциям философских азбук и библий». «*Глаголы — это идолы твоих понятий*, — восклицает он, обращаясь к Якоби, — *наподобие того, как Спиноза во-*

образил, что буква — это демиург». Он искренне признается, что его собственное творчество ему важнее, чем написанное Якоби, и оно кажется ему «по намерению и содержанию даже более значительным и полезным». Якоби попал в очень трудное положение. Но все это не ослабило внутреннего доверия. Теперь Якоби надлежало обрести душу Гамана, эту последнюю опору их дружбы, и в ней познать и понять разрешение всех недоразумений, объяснение загадок духа. Но Якоби после пребывания у него Гамана пишет: «Мне трудно было отпустить его (об этом «отпустить» — ниже), но, с другой стороны, хорошо, что он от меня уехал, так что я снова смогу прийти в себя. Я не смог постичь основы его искусства жить и быть счастливым, как ни старался» (далее Гегель в столь злых по тону выражениях описывает отношения между друзьями Гамана, цитируя места из их переписки, что создаст впечатление совершенного непонимания Гегелем того факта, что между людьми, даже умными и влиятельными, может существовать истинная искренность в проявлении и описании своих чувств, можно вполне понять, что пером Гегеля движет элементарная бессознательная зависть. — *Ред.*).

Сам Гаман был прежде всего подавлен своим физическим состоянием. Лечение водами, врачебные процедуры и самый заботливый, полный любви уход, которым он пользовался во время своего пребывания в Мюнстере, Пемпельфорте и Велльбергене, уже не могли обновить его ослабленного тела. Со своей стороны он постоянно выражает полнейшее удовлетворение, получаемое им в новой среде окружающих его лиц. «Я живу здесь, — пишет он 21 марта 1788 г. из Мюнстера, — в лоне друзей одинакового склада, которые, как половинки, подходят к моим душевным идеалам. Я нашел и рад своей находке, как евангельский пастырь и жена. И если предчувствие небесных радостей нисходит на землю, то отчасти это сокровище досталось мне — не по заслугам и не по достоинству». Нередко он говорит, что «любовь и почет, с которыми он встречается, не поддаются описанию, и надо было стараться перетерпеть и объяснить это», он был прежде всего «всем этим оглушен и ошеломлен». Он постоянно высказывался, выражая чувства любви, и его письма к детям в этот период очень трогательны. В письме к Якоби сказано: «Любовь, которой я пользовался в твоём доме, никоим образом несоразмерна с моими заслугами. Я был принят как ангел небесный. Если бы я был родным сыном Зевса или Гермеса, я и тогда не мог бы найти больших жертв гостеприимства». (Все же Гегель не удержался от грубости, делая прозрачные намеки на отношения Гамана с сестрами Якоби, и заканчивает он свое сочинение на иронично-завистливой ноте.)

Несмотря на эти чувства и взгляды, Гаман долго там не выдержал.

Якоби пишет: «Гаман пробыл в Мюнстере едва ли четырнадцать дней, и ему пришло в голову совсем одному поехать в Велльберген. Как ни уговаривали, ни просили и ни сердились на него, ничего не помогло, и он отправился. И как все предвидели, так оно и случилось: он заболел». После трехмесячного пребывания зимой в этом, как сообщает Якоби, болотистом и сыром месте, Гаман в конце марта возвратился назад в Мюнстер, откуда он во второй половине июня собирался поехать к Якоби, но в день, определенный для отъезда (!), он сильно захворал, и еще день спустя, 21 июня 1788 г. тихо и без страданий закончил свою столь нелегкую жизнь.

Таково в кратком изложении самое удобочитаемое произведение из всего громадного философского наследия Гегеля. Оно достаточно ясно показывает нам Гегеля как человека, однако сейчас нас интересует не Гегель, а Гаман. В середине статьи Гегель приводит большую цитату из сочинения Гамана:

«В 1786 г. на склоне своей жизни Гаман пишет о своем предназначении следующим образом: “Для этого царя град его — Иерусалим, имя которого, как и его слова, велики и неведомы. Излился мелкий ручеек моего сочинительства, которое презирают, подобно медленно текущим водам Силоаха. Суровость художественной критики преследовала сухой стебелек и каждый летучий листок моей музыки. Ибо сухой стебелек играючи насвистывал с детишками, сидящими на рыночной площади, а летучий листок кружился и грезил об идеале царя, который мог гордиться величайшей кротостью и смирением сердца. Здесь он более, чем Соломон. Как милый любовник изнуряет покорное эхо именем своей возлюбленной и не падит ни одного дерева в лесу или саду, вырезая на них инициалы и крестики заветного имени, так и память о прекраснейшем среди сынов рода человеческого в стане врагов была излита елеем Магдалины. И, как драгоценный бальзам, ниспадал он с главы Аароновой на всю бороду его и на платье. Дом Симеона Прокаженного и Вифании был полон аромата евангельского елея. Но некоторым милосердным братьям и художественным критикам неприятны сии нечистоты, и ноздри их полнятся одним лишь трупным запахом”».

Крупницы истинной истины, да простит меня читатель за тавтологию, открывшейся Гаману, можно обнаружить уже в том изложении гегелевской статьи, которое я представил. Еще больше можно почувствовать, прочитав всю статью, если, конечно, не увлекаться злой иронией автора и его собственными рассуждениями, иногда пошлыми, иногда банальными, иногда просто пустыми. Так или иначе, масштаб личности Гамана представляется бесспорно неординарным.

О его противостоянии Канту, Спинозе, Декарту — всем философам-рационалистам — уже упоминалось. Кант, со всей его щепетильностью в вопросах внешнего соблюдения приличий, не нашел, чем ответить Гаману на его приглашение к диалогу. Гёте, великий поэт и ученый, тоже не выдержал Гамановой силы духа, и будь Гаман жив, он бы разнес «гениального» «Фауста» в пух и прах (чего стоят хотя бы гётевский «хор блаженных младенцев» для тех, кто хоть немного смыслит в христианской терминологии, или «хор кающихся грешниц» для человека, наделенного простой эстетической чувствительностью!). О чудесном предварении Гаманом идей Ницше — в том же стиле и с той же силой — я тоже упомянул. Можно добавить к этому, что злосчастная судьба великого немецкого поэта Гельдерлина случайно, но вполне определенно и ясно просматривается, если обратить внимание на кружок, сформировавшийся вокруг Гамана в последние годы его жизни (Ионафан, Диотима, Перикл — это безумная мечта юного автора «Гипериона»). То же самое мы можем сказать о Новалисе, кумире романтиков всех времен и народов. Его духовная связь с Гаманом несомненна, но Гаман — шире, яростнее, интереснее.

«Демодок — Анти-Платон» имеет много общего с Гаманом. Он столь же яростно ополчился против Платона, как и Гаман, выступивший в «крестовые походы» против всего современного ему общества. Но теперь самое время познакомить читателя с основной публикацией. Предварительно поясню для нефилософов некоторые моменты. Платон был в юности борцом. Отсюда его прозвище — Широкий. Он был преданным учеником Сократа, который, как известно, не писал сочинений, а склонял граждан Афин к философским беседам на главной площади города — агоре. Вокруг него всегда находились те, кто слушал эти беседы, молодые люди, очарованные способностью Сократа ставить собеседника в тупик и принуждать его к принятию совершенно абсурдных положений. Одним из таких учеников был Платон. К концу своей жизни Сократ приобрел известность, особого рода уважение, то, что мы назвали бы сегодня харизмой. Платон после его смерти долго путешествовал по свету, после чего открыл в Афинах Академию — пока еще нечто среднее между учебным заведением и общиной единомышленников. В своих произведениях — диалогах, основным участником которых был Сократ, — Платон развил учение об идеях, которые, по его мысли, являются небесными образцами, согласно которым существуют и получают свою истинную форму земные вещи. Среди таких идей — идеи Блага, Прекрасного, Справедливости. Также Платон пытался определить идею Истинного Государства. Когда философ, по предложению одного из греческих правителей, Дионисия, Сиракузского царя, взялся за практическую деятельность по претво-

рению в жизнь этого идеала, результат оказался плачевным. Дионисий продал Платона в рабство, из которого его выкупил один из друзей. Известна следующая легенда. Платон любил определять понятие любого предмета, разделяя более общее понятие, потом — разделяя половину первого разделенного и т. д. (например, человек — это живое существо (выбирая между живым и неживым), далее скажем, живое сухопутное (выбирая между сухопутными и живущими в воде), далее, живое сухопутное двуногое (выбирая между двуногими и четвероногими) и т. д. Когда он определил человека как двуногое без перьев, один из его оппонентов принес оципанного петуха и выпустил его со словами: «Вот — человек Платона». По другой версии, человек был определен Платоном как «двуногое с широким ногтем». Также Платон учил, что философствование — это подготовка к смерти, после которой добродетельного мудреца ждет блаженная жизнь. Все это подвергает осмеянию «Демодок — Анти- Платон».

Кто человек по Платону?
— С ногтями широкими птица.
Кто, по Платону, петух?
— С острым ногтем человек.

Учит мудрец, что в Аиде
Счастье душа постигает, —
Верно, счастливых людей
В жизни Платон не встречал.
Или от зависти черной
.....

Идея Платона нашего
Пребывает на небе бездвижная.
Как же он среди людей ходит —
На земле переменчивой?

Афины, чтобы богатство и славу потерять,
Спарта, чтобы мужества лишиться,
Фивы, чтобы гордость отцов забыть,
Коринф, чтобы веселье утратить —
Зовите Платона-мужа в правители!

Платон-Аристокл чести отцу
Мало принес... «Верно, Бог — отец его», —
Люди говорят, а старика седого
Вспоминать не желают,
И как плакал он о сыне своем,
Когда тот с Сократом-шутником суесловил
У честных людей на виду.

В рабство тиран Дионисий
Продав Платоново тело.
Добрые люди его
Все же спасли от стыда.
Душу Платон добровольно
Продав Идее, и деньги
Всех на земле мудрецов
Вряд ли свободу вернут.

Дар Богов — поэзию, стыд одолевающую
Изгнал мудрец из своей души-города.
Чему научит юношу стыдливого
Мудрость его пугливая?
Уже и забыл он...
..... в теле.....

Так говорит Демодок: Мудрость дается от Бога.
Ты не Афина, Платон, хоть и в Афинах живешь.
Так говорит Демодок: Ум познается словами.
Ты же, Платон, говоришь, умным желая прослыть.
Так говорит Демодок: Счастье — в уме беспечальном.
Умник, не плачь о других — радуйся жизни, Платон.
Так говорит Демодок: Дружба — дружна с красотой.
А красивее, чем есть, вряд ли ты станешь, Платон.
Так говорит Демодок: Власть — это сила, а мудрость
Лишь пострадает, Платон, если ей с властью дружить.
Так говорит Демодок: Смерть посылается Богом
К тем, кто ее призовет так, как зовешь ее ты.
Так говорит Демодок: Мы можем считаться живыми,
Только, Платон, если.....

Также в рукописи Гамана находились вышеприведенные двуступицы о жителях греческих городов, к которым было добавлено еще одно:

Вот Демодоково слово: в Афинах последний торговец
Мнит себя мудрым, но нет мудрого там одного.

Такова эта спорная во всех отношениях публикация, пришедшая в Россию из Германии. Мне остается только довести до сведения читателей, что Грегор Микис в последнем своем письме сообщил, что далее заниматься разысканием следов Демодока он не намерен, поскольку это и без того отняло у него несообразно с достигнутым результатом много времени.